

Georgina Barker (Oxford – Воронеж)

СТИХОТВОРЕНИЯ

Джорджина Баркер в 2010 году была стажёром-преподавателем кафедры теории перевода и межкультурной коммуникации Воронежского госуниверситета. Предлагаем вниманию читателя стихи, которые Джорджина написала по-русски. Предисловие к публикации подготовила, по просьбе редакции, Елена Владимировна Эйтингон.

Джорджина Баркер, английская студентка из Оксфорда, пишет стихи.

Никто не знает точно, почему люди пишут стихи. Джорджина говорит, что стала писать их после того как прочитала русских поэтов – причём сначала стала писать на русском языке, а потом уже и на родном английском. Было это причиной или только толчком, уже неважно. Ясно одно: с русской поэзией и русской литературой вообще у неё существует сильная, глубинная связь. «Русский мир», словесный и реальный, она чувствует остро, и удивляясь ему, и принимая его как обретённую родину. Джорджина просто впитывает Россию, как воздух, впитывает язык и пишет по-русски лучше, чем переводит.

Есть ли в её стихах ошибки, шероховатости? Случаются, но поправимые, а иногда и такие, которые создают особый смысл, особую точность выражения. Да и не в ошибках дело: поражает настоящая поэзия и глубина личности автора, чувство языка и совершенно индивидуальная интонация.

А там, где Джорджина соединяет русский с английским, играя со звуком и смыслами, билингвистичность текста органична и выразительна.

Джорджина Баркер пишет настоящие стихи на русском языке. В её семье нет русских корней, и дома никто не говорит по-русски. Дипломная работа будет о горячо любимом Овидии. А русский язык, который она изучала с 13 лет и продолжает изучать в университете, стал русской литературой, Петербургом, русским Севером, Воронежем – целым миром – и способом говорить: стихами.

Е. В. Эйтингон

* * *

Я наконец узнала, как избежать смерти и забвения,
Узнала, как пролетать вечность блестящими крыльями,
Словом – узнала, как стать богом.
Рада ли я этим открытиям?
Увы, совсем нет, нет ничуть. Чёрт возьми,
Как всегда я уже опоздала:
Вечность – не полечу; богом – не стану.
Всё было так ясно, так просто, словно небеса открылись
– только щёлочка, конечно, но хватало –
И за коротко-вечное, жутко-золотое м-гн-о-вен-и-е
Предложили мне всё, и потом
Со звяканьем (наверное, летающих райских тарелок)
Снова закрылись, раз и навсегда.
Слепа от света, глуха от грома,
И больна до слёз от тяжёлого осознания,
С которым всю жизнь, переживая потерю своих крыльев,
Я никогда не смирюсь, как будто
Кто-то решил наказать меня за мою спесь
Нескончаемой точкой по родине
Не своей, я знаю сейчас,
Что если бы только я родилась русской,
И такая, потом стала поэтом,
То я за свои стихи среди небесных стихий
Бы летала в бесконечной молитве России.

* * *

Внутри меня, внутри Вас,
записанные листы как листья летают,
взлетают стаями птиц после выстрела
и падают брызгающим фонтаном
фраз, слов, слогов,
взмахом жгучих, скоро сожжённых идей,
которые жадно лижущие языки пламени ума едят.
Наши с Вами внутренние листы-листья
крутятся, глубокими кучами лежат, как сугробы,
и верхние слои, сухо шелестя, живо шевеля,
шепчут мне, шепчут Вам,

языками бумажными, говорящими
у тех громче, назидательные эти, тыкая
грубыми переплётами, у других –
тише, полузабытые эти, или пугливые,
медленнее, осторожнее высказывая свои мнения.
И третьи, третьи – странный народ,
не общительный, неопиcуемый,
редко видимый, никогда не ведаемый.
Их шептание – невнятно,
скорее чувствуется, чем слышится,
но когда их языки движутся,
они говорят не по-нашему,
не по-иностранному,
не по-современному,
не по-старому,
не по-детскому,
не по-взрослому,
не по-здешнему,
не по-небесному,
не правильно,
не неправильно,
не историком,
не пророком,
не одним голосом,
не сотнями совсем противоречивых голосов;
нечто похожее на хор создают,
эти вавилонские, александрийские, древне-новые, старо-
дружные, посторонние, из земли росшие, к небу посланные
листы
трогают нас с Вами когда-то придуманными, рукотворными
пальцами
незаметно,
действуют на наши действия, вдохновляют наши голоса,
говорят нам с Вами
молча.

Автобус-дом

Движение сегодня не движется.
Движение стало – недвижимостью.
Я за лишь семь рублей куплю себе дом:
коробкообразноватый, колёсноватый,
тесноватый, многолюдный, прозрачный – но свой.
Мебель, шторы, центральное отопление,
удобное место в центре города,
домохозяйин, швейцарка – всё у дома есть.
Там я буду спокойно жить – если только
я с соседями не поссорюсь! –
я буду читать, сочинения писать,
в магазин бегать, душ (на крыше) принимать,
ужин готовить (над двигателем,
лишенным своего смысла – что-то двигать),
и, довольна, лягу спать, пока не утром
проснусь, увы!, не во вчерашнем месте.
И с печалью я сразу пойму, что уже
не моя недвижимость снова движется.

Мой тайный язык

Я говорю на тайно тайном языке,
на котором говорят миллионы людей.
У моего тайно тайного языка
нет эй-би-си а алфавит да азбука да
абевега тайно тайная, которая
так особенная, что только самые
умно-умные высоко-учёные
учёные могут разбирать его знаки,
и даже разобрав, понимают не то,
а хладноумно учёно-научно;
кроме них, понимает мой тайный язык
только убого-благословенный славянский
народ, со мной, одни на всём чудном свете.

Но мой тайный язык - не только
не мой тайный язык, а даже
никак не немой тайный язык,

и совсем не tiny язык,
а скорее titanic язык,
хотя в нём титана мало, он
чисто плоть, не бионический,
глубже айсберга, от него не
утопит, не похоронится
в титане из живого коралла
потому, что он choral язык,
по которому, хочется петь,
но массы никогда не допюют
свою мессу к языку,
слишком он massive
пропеть его массив и наконец
напеться. Когда в массиве
заблудился, когда только
степь да степь кругом, надо только
step by step move on, в конце концов
всё исправится, хотя хуже
всего тебе сейчас этот huge
язык, скоро именно immenseness
тебе понравится, и на меньше
его ни за что не обменишь,
даже если этот широкий
язык бы тебя над sheer, rocky
пропастью повесил, и дикий,
достаточно, он, mammoth язык,
и шерставый, и шерстяной,
хотя мамонты сами, между
мрачными стадами, по нему
говорить, хоть и чуть чуть, не умели.
Но если бы умели, представь
себе, как это бы было epic:
эти величавые существа,
мыча друг к другу через
долины по языку всех эпох,
и молча по нему на их
плоских пещерных стенах –
ещё не рождённого языка
будучи эпическим эпитафмом.

Но я довольна лишь просто тем,
что язык столь хорошо подвешен,
хотя сначала он язык не
высовывал а всунул в ящик,
у того, чьё сердце (собачье) так big,
чтобы нам удержать времени бег
с помощью этого бегемота-
кота, который бы заставлял
не только болванов а также
бульдогов по московским бульварам,
как будто за ними гонялись
бульдозеры, убегать бегом.
Язык – христианско-языческий,
язык – крестьянско-языковый,
только, эх, без креста, без языка.
Удивительно ли тебе, что
язык так broad – бродяга бурный?
Что язык Блока, Бродского, прежде,
теперь бессовестно ворует
высосанные отбросы Бродвея?
А может, всё это – полный бред,
и мой язык без толку болтает,
и я, тоже заблудшая в тайге
тайного языка, брожу.
Да, точно – я брежу; всё, брошу.
Люди, люди, везде, люди!
Сбоку – стук, сверху – скрип,
От тяжести человечества
Снижается потолок,
Мне никак спать не даёт.
Люди, люди, везде, люди!
Вокруг – нажим, сзади – толчок,
От волнения народа
Лопается автобус,
Мне оторваться не пустит.
Люди, люди, везде, люди!
Надо мной трубы трубят
Барабаньем капель струек,
Истекают чужие души.

На острове откуда я,
Говорят, мир – мелок.
В этой столь широкой стране –
Необъятной, даже,
Где каждое здание –
Многолюдный остров,
Говорят, мир – тесен.
И в этой стране тундры и степи,
В её прокуренный, спёртый воздух,
Я глоток за глотком топлю.
Но сквозь здешний шум, издалёка,
Я слышу знакомый птичий крик...

Пещерный рисунок

(Окая.)

Жило да было
дикое стадо.
Стадо бродило
боязливо.
В удобном месте
раз ночевало.
Стаду местечко
Устраивало.
Вокруг себя стадо
Застраивало.
И строение,
население,
и стадо росло,
уширялось,
укрепилось,
жирело.
Животное-то,
живот у кого
был жирнейшим,
вождём стало
стада, для него
всё всё делало,
даже думало –

стадо же думать
не умело,
или забыло,
как – не важно.
Что важно: свой ум
стадо передало.
Это жирное,
одно умное,
стаду строить, жить,
спать, жрать, рождать,
расти разрешало;
лишь когда нужно
стаду проливать
кровь велело,
и чья, и как, но
почему – редко,
но всё равно всё
было так легко
стаду, которого
вождь сделал
немедленно
сильнейшим, жирнейшим.
И стадо его
благодарило,
и стадо его
боготворило,
вечно любило.
Всё это прошло
давным-давно,
во тьме дальнего,
бессмысленного,
забытого,
ненужного
прошлого.

* * *

Строит жильё на песке – дурак.
Строит жильё на камне – дурак.
Строит дом из соломы – свинья.
Строит дом из кирпича – свинья.
Создаёт мужчину из плоти
да женщину из кости Он – зря.
Все дома да люди рухнут,
вернутся туда, откуда
создались: в глину да прах,
ждушие в их собственных костях.

* * *

Исчезает женщина.
Она исчезает в дочку,
не носящую ни матчества
матери ни фамилии.
Исчезает девочка.
Она исчезает за подружками,
предками, потомками
одноимёнными,
она исчезает за ленточками,
белыми бабочками
в огромной стае,
её бьющими по голове
кружевными крыльями.
Исчезает девушка.
Она исчезает в одежде,
модно откровенной – ложно,
в каблуках, поднявших её
на уровень у других всех,
в косметике, скрывающей,
скривившей, её лицо.
Она исчезает за букетами
цветов, подарёнными
поклонниками, чей
романтизм выживает
едва дольше его

завянувших подарков.

Исчезает невестка
за улыбкой, надетой
для фотоаппаратов.
Она исчезает за платьем
из приторного торта
и вуалью из облак мечтей.

Уже запряла она
свой будущий кокон.

Исчезает жена
в дом, где работой
своих красивых локтей
она делается рабом.

Она исчезает на кухню,
где она пытается
добить сердца мужа своего
со скалкой и сковородкой,
и если не получается,
оружье уже имеется
в её двух ладонях.

Исчезает мама
в роддом, чтобы добавить
в число требующих от
неё и нуждающихся
в ней. Год за годом,
рождение за рождением,
она исчезает за толпой
растущей своей семьи,
и незаметно в бабушку
толстую, всемогущую,
принятую всеми как должное.

Исчезает старуха,
не зная что делать,
когда она больше не нужна.

Она исчезает в гроб,
чьё тёмное забвение
скрывает её смущение,
чьи буквы квадратные
чужой фамилии –

уже ей не важны,
где объятие почвы
смывает прежние боли,
где в утробе земли
она может готовиться
к чьей-то новой жизни.

* * *

Обрусевшая, я очутилась снова в родине.
Всё вокруг говорит мне на моём языке.
Нежные холмы моего родного города,
дом моих ранних лет, семья моя дорогая
обнимает меня крепко двумя крыльями,
давно покинутыми, долго желанными.
Я греюсь, рада, в центре шара тёплого,
радостного, моего. Мне душно, грустно, чуждо.
Где мне жить, здесь – дома, или там – дома?
Как мне быть, забывшая голову в другой стране?
Мне долго ли стоять, раздвинувши ноги, одна –
здесь, вторая – на невозможно далёком континенте?
Мне долго ли говорить, скучая по ощущению
тех других звуков, звеневших в уме и во рту?
Снова в родине, как мне разрусеть сейчас?
Снова в родине, как всё не разрушить тотчас?

Получено 22.09.2010